

твоими крестами, Соня. <...> Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе-хе!» — 6, 403).

Яркая площадная стихия, где смеховое начало утверждает торжество жизни, где даже ад — игрушечный, а сама смерть чревата рождением и обязательным воскресением, воплощает живую жизнь, ту самую простую, веселую человеческую природу, от которой отрезан герой. Стилистика сцены — карнавальна, сюжет и герой — трагичны.

Осуждение Раскольникова народным хором не означает, что оценивать героя такого трагического масштаба следует только с точки зрения этической,¹⁰ без учета того, как создан этот образ автором, насколько ощущается в нем «вещество искусства» (Д. Мережковский), что так блестяще сформулировал другой литературный герой — Юрий Живаго: «Присутствие искусства на страницах „Преступления и наказания“ потрясает больше, чем преступление Раскольникова».¹¹

Отмечу, что я коснулась лишь частного аспекта проблемы взаимоотношений «автор–герой» (в данном случае воплощенного в «литературном почвенничестве») на молекулярном отрезке текста, прибегнув к такому испытанному методу, как опыт медленного чтения. В том отрывке, который был проанализирован выше, происходит, по сути дела, едва ли не первый «тектонический сдвиг» романа: Раскольников, впервые обратившись к людям, оказывается им вовсе не интересным, не нужным. И, пока не зная того сам, делает — еще бессознательный — шаг к воскрешению. Именно такие моменты в тексте ждут (и требуют!) медленного, кропотливого чтения и перечитывания.

¹⁰ И здесь мне близка позиция Б. Н. Тихомирова, который в связи с утверждением Раскольникова о том, что внутри себя «по совести» можно дать себе разрешение «перешагнуть через кровь», предлагает взглянуть на «Преступление и наказание» как на «великую трагедию совести». См.: Тихомиров Б. Н. «Лазарь! Гряди вон»: Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении. С. 239–240.

¹¹ Пастернак Б. Л. Доктор Живаго // Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 279.

DOI: 10.31860/0131-6095-2020-3-74-84

© В. Е. БАГНО

ЯСНЫЕ ПОЛЯНЫ И ПЕТЕРБУРГСКИЕ УГЛЫ РОССИИ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПРОГНОЗЫ И ПРОРОЧЕСТВА Э. ПАРДО БАСАН)*

Прогнозы и пророчества в области культуры поучительны и в тех случаях, когда они обращают на себя внимание и оправдываются, и в тех, когда они остаются несформулированными или незамеченными.

Одним из первых грядущую смену вех на Западе в представлениях о России, с которой со времени создания Священного союза связывали образ врага и с которой ассоциировали «казацкую» угрозу, предсказал Гоголь. В 1846 году в письме к Л. К. Виельгорской, включенном вскоре в книгу «Выбранные мес-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90014 «Проблемы рецепции личности и творчества Достоевского в мировой культуре: история и современность».

та из переписки с друзьями», он пророчествовал: «Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».¹ Прогнозы Гоголя сбылись, правда, пришла в Россию «за покупкой мудрости» не вся Европа, а часть интеллектуальной элиты Запада, разочарованной эволюцией европейской цивилизации, «мудрость» черпали почти исключительно из русского романа, и прошло не десять лет, а сорок.

Наступление эпохи «мирного» завоевания Россией Запада, свидетельством которой было восхищение перед гением русских романистов, предвидел Достоевский. При этом знаменательно, что ближайшим поводом для этого обобщения, казалось еще преждевременного, датируемого серединой 1870-х годов, послужил роман Толстого «Анна Каренина», который именно в это время публиковался на страницах журнала «Русский вестник». Вспоминая поразившую его высочайшую оценку, которую дал толстовскому роману Гончаров, заявивший, что «Анна Каренина» превосходит всю современную европейскую литературу, Достоевский писал: «Меня поразило, главное, то в этом приговоре, который я и сам вполне разделял, что это указание на Европу как раз пришлось к тем вопросам и недоумениям, которые столь многим представлялись тогда сами собой. Книга эта сразу приняла в глазах моих размер факта, который мог бы отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Разумеется, возопят смеясь, что это — всего лишь только литература, какой-то роман, что смешно так преувеличивать и с романом являться в Европу. Я знаю, что возопят и засмеются, но не беспокойтесь, я не преувеличиваю и трезво смотрю: я сам знаю, что это пока всего лишь роман, что это только одна капля того, чего нужно, но главное тут дело для меня в том, что эта капля уже есть, если гений русский мог родить этот факт, то, стало быть, он не обречен на бессилие, может творить, может дать свое, может начать свое собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки».² Далее писатель утверждает, что в «Анне Карениной» есть то, что составляет «нашу особенность» перед европейским миром, «такое слово, которого именно не слышать в Европе, и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость».

И наконец, завершает Достоевский главу «„Анна Каренина“ как факт особого значения» в «Дневнике писателя» за 1877 год пророческими словами, не оставляющими сомнения в том, что для Достоевского имела значение не столько литература, сколько грядущая смена вех в представлениях мира о России и ее месте в семье народов: «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть *последствия* и *своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Всё остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени. Так могли бы рассудить наши, по крайней мере, европейцы, в ожидании, пока рассудят европейские европейцы...»³

Полностью подтвердив прогнозы русских писателей, Россия пришла в Европу с «романом»: прежде всего с романами Толстого, но также с произведениями Тургенева, Гоголя, Гончарова и Достоевского. Во второй половине 1880-х годов во Франции и в Испании появились две книги о русском романе, которые предвосхитили новые представления как о русской литературе, так

¹ Цит. по: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями / Сост., вступ. статья и комм. В. А. Воропаева. М., 1990. С. 184.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 199.

³ Там же. С. 202.

и о России, воплотили два основополагающих представления о связи между романом и национальным своеобразием русской культуры, предлагающей миру новые духовные, идейные и эстетические ориентиры. Эти представления, наследуемые из поколения в поколение, из работы в работу, сосуществуют в мире вот уже почти полтора столетия.

Первое из них нашло блестящее воплощение в знаменитом сочинении Эжена-Мелькиора де Вогюэ «Русский роман», которое вышло в свет в 1886 году.⁴

В 1880-е годы вопрос о национальном своеобразии русской литературы и ее воздействии на литературную жизнь Запада был неразрывно связан с вопросом о соотношении между русским реализмом и наиболее влиятельной западноевропейской литературой того времени, французской, точнее — литературой французского натурализма. Вогюэ одним из первых со всей определенностью этот вопрос поставил и попытался на него ответить. Французский писатель-католик, сыгравший огромную роль в деле популяризации русской литературы и формирования нового представления о России, видит основное достоинство и бесспорное преимущество русского реализма в силе религиозного чувства, в том, что он пропитан «евангельским духом», согрет любовью к ближнему, состраданием людским несчастьям.

Другой особенностью русского реалистического романа он считает интерес к «мистическому смыслу жизненных явлений». Русские писатели, отмечает он, «изучают действительность так пристально, как не делал никто до них, кажется даже, что им неловко в этом замкнутом пространстве; и тем не менее, они размышляют над невидимым; описывая с крайней точностью знакомые всем вещи, они не забывают уделить особое внимание тому, что, как они подозревают, скрывается за ними».⁵

Книга писателя, озабоченного оскудением религиозного чувства в странах Западной Европы и подчеркивавшего «буддийские» корни русской духовности и творчества особенно ценимого им Льва Толстого, в сущности, взяла на себя ту функцию, которую не могли выполнять для европейской публики доктрины славянофилов, поскольку они воспринимались как пропаганда извне. «Славянская раса, — утверждал Вогюэ, — не сказала еще своего великого слова в истории, а великое слово, которое любая раса призвана сказать, — это только религиозное слово. Под внешними покровами своего православия она его ищет в добросердечии, присущем всем слоям общества».⁶

Уже в 80-е годы XIX века и далее в значительной мере благодаря книге Вогюэ, которая пользовалась огромной популярностью, в центре дискуссий о русской литературе на Западе оказался вопрос о причинах и характере влияния русских писателей. Он теснейшим образом связан с вопросом о сущности русской литературы, о чертах ее отличия от литератур Запаदा. Для европейского читателя конца XIX века, не в последнюю очередь благодаря Вогюэ, своеобразие русской литературы (если собрать воедино наиболее распространенные суждения) заключалось в следующем: в напряженных поисках смысла жизни, отвечающих глубинным основам национального мироощущения, в неудовлетворенности теми представлениями о счастье, которые бытовали

⁴ *Vogüé E.-M. Le roman russe. Paris, 1886.* Книга до сих пор не переведена на русский язык, было опубликовано только авторское предисловие к ней: *Вогюэ Э.-М. де. Русский роман. Предисловие / Вступ. заметка П. Р. Заборова; пер. С. Ю. Васильевой под ред. П. Р. Заборова // К истории идей на Западе: русская идея. СПб., 2010. С. 504–534.*

⁵ Там же. С. 528.

⁶ *Vogüé E.-M. de. Le roman russe. P. 343.* Перевод с фр. и исп. здесь и далее мой. — *В. Б. О жизни Вогюэ в России и о его книге см.: Röhl M. «Le Roman russe» de Eugène-Melchior de Vogüé. Stockholm, 1976 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in History of Literature; № 16); Eugène-Melchior de Vogüé, le héraut du roman russe. Textes réunis et prés. par Michel Cadot. Paris, 1989 (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves. T. 284).*

в западноевропейском романе, в активном сострадании человеку, поставленному в крайне тяжелое, унижительное положение, в удивительном богатстве внутреннего мира ее героев, в широте их интеллектуальных интересов.

Несомненно, что Толстой, Достоевский и Тургенев заинтересовали западноевропейского читателя выдвижением на первый план в своих романах нравственных вопросов. Русская литература на протяжении долгих десятилетий воспринималась во всем мире как проникнутая большим интересом к нравственной стороне человеческой личности, большей тревогой за судьбу человека, чем другие литературы.

В той или иной мере на изложенные в этой книге взгляды опираются почти все авторы зарубежных историй русской литературы, но также и некоторых русских, созданных как до 1917 года, так и эмигрантских и современных. Большинство из них, ссылаясь на авторитет Вогюэ в интересующем нас вопросе или нет, сознательно или неосознанно, являются наследниками и продолжателями французского критика.

Вторая концепция, по убеждению ее авторов, прежде всего советских, но также значительной части литературоведов стран так называемого социалистического лагеря, восходит к идеям В. И. Ленина.

Теоретической базой для работ советских исследователей о мировом значении русской литературы и ее национальном своеобразии служат статьи Ленина о Льве Толстом. Вождь мирового пролетариата отметил, что русский писатель «поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость».⁷ «Его мировое значение как художника, — подчеркивал Ленин, — его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции».⁸

Как и можно было ожидать, в ответах на интересующий нас вопрос, которые даются в многочисленных «Историях русской литературы», подготовленных в странах так называемой народной демократии, будет много общего с аргументацией и выводами их советских коллег.

В значительно меньшей степени эти взгляды отразились в работах, изданных на Западе. Д. П. Святополк-Мирский, автор одной из самых ярких историй русской литературы, явно выдает желаемое за действительное, утверждая: «Западные историки русской литературы обычно с самого начала оповещают своих читателей о том, что русская литература отличается от всех других литератур мира своей тесной связью с политикой и историей общества. Это просто неверно. Русская литература, особенно после 1905 г., кажется удивительно аполитичной, если вспомнить, каких колоссальных политических катаклизмов она была свидетельницей. Даже разрабатывая „политические“ сюжеты, современные русские писатели остаются по сути аполитичными — даже когда они заняты пропагандой (как Маяковский), она в их руках превращается не в цель, а в средство».⁹

Как ни парадоксально, вторая концепция впервые в полной мере была сформулирована и обоснована в лекциях испанской графини Эмилии Пардо Басан «Революция и роман в России», изданных в 1887 году,¹⁰ т. е. через год

⁷ Ленин В. И. Л. Н. Толстой // Ленин В. И. Полн. собр. соч.: [В 55 т.] 5-е изд. М., 1973. Т. 20. С. 20.

⁸ Там же. С. 19.

⁹ Цит. по: Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск, 2006. Т. 2. С. 2.

¹⁰ Pardo Bazán E. La Revolución y la novela en Rusia. Madrid, 1887. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием номера страницы. Подробнее о Пардо Басан и о ее книге

после появления книги Вогюэ, и не получивших распространения, кроме, конечно, самой Испании и стран Латинской Америки.¹¹ Не может быть никаких сомнений в том, что эта книга не была известна Ленину.

Более того, марксистская наука как в СССР, так и в других странах, не подозревая об этом, скорее следовала за испанской графией, чем за вождем мирового пролетариата. Советские литературоведы, которые впоследствии во всех своих работах повторяли слова Ленина и ссылались на его авторитет, писали о том, что русская литература, теснейшим образом связанная с общественной жизнью, *готовила* революцию, между тем как, строго говоря, Ленин писал о другом — о том, что Толстой в своем творчестве, будучи большим художником, *не мог не отражать* революционную ситуацию и надвигающуюся революцию. Между тем, с точки зрения Пардо Басан, русская литература и предвосхищала революцию, и *готовила* ее.

Испанская писательница предложила совершенно неожиданный для Западной Европы 80-х годов XIX столетия подход к определению национального своеобразия русской литературы. Его отличительной чертой является перенос центра внимания с внутреннего достоинства самих произведений на проблему отражения в русском романе общественной борьбы в России. Благодаря своим русским знакомым Пардо Басан первой в Европе обратила внимание на непосредственную причинно-следственную связь между русской литературой и набиравшим силу революционным движением в России. Писательница ставила перед собой задачу проследить формы отражения исторического развития и социальных идей в современном русском романе и при этом не упустить из виду, что «по венам русской литературы текут социалистические и коммунистические идеи» (р. 102). Более того, романы русских писателей, с ее точки зрения, и отражали предреволюционную ситуацию в России, и участвовали в ее формировании.

Таков в концентрированном виде взгляд Пардо Басан на национальное своеобразие русской литературы. При этом как литература, так и «революция» вызывали у нее, представителя западной цивилизации, двойственное чувство: неподдельного восхищения и тревоги.

Можно лишь удивляться тому, что при всем многообразии подходов и оценок как классического русского романа второй половины XIX столетия, так и русской литературы в целом, ее периодизации и эстетических особенностей, судя по всему в осмыслении национального ее своеобразия исследователи во многом сохраняли верность двум ярким концепциям, двум «текстам-архетипам» (именно «архетипам», поскольку книга «Революция и роман в России» Пардо Басан, строго говоря, не является «источником»), одна из которых возникла в полемике с позитивизмом и натурализмом, а вторая, в свою очередь, полемична по отношению к первой. В то же время очевидно, что сочинение Пардо Басан во многом уступает книге Вогюэ, выдающемуся литературному манифесту XIX века, как глубиной постановки вопросов, так и влиянием на умы нескольких поколений интеллектуалов и любителей литературы во многих странах мира. Однако столь же очевидно, что в России ее имя также не должно быть забыто.

Имеет смысл упомянуть отклик на лекции Пардо Басан, принадлежащий перу ее соотечественника Хуана Валеры, который, в отличие от нее, побывал в России в 1856–1857 годах в составе дипломатической миссии. Более того, в одном из своих «Писем из России», благодаря которым он и осознал себя

см.: Clémessy N. Pardo Bazan, romancière. Paris, 1973; Багно В. Е. Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании. Л., 1982.

¹¹ О первых откликах на книгу Пардо Басан в Испании и в испаноязычных странах см.: Там же. С. 66–70.

писателем, Валера высказывал сходные мысли: «Мои новые филологические знания мне послужат тем не менее в изучении литературы, хотя почти неизвестной во всей Западной Европе, но богатой и обещающей со временем стать великой».¹² В 1887 году от взгляда одного из самых авторитетных писателей Испании не ускользнуло, что Пардо Басан преследовала не столько исследовательские цели, сколько цели иного свойства, непосредственно касающиеся современной испанской литературы и, шире, литератур Запаदा. Зная, что она была сторонницей французского натурализма, влияние которого на испанских литераторов он считал крайне вредным, Валера попытался на всякий случай «приглушить звучание» пропагандируемого ею нового литературного явления.¹³ В то же время в 1887 году, полемизируя с Пардо Басан, Валера не мог не сознавать, что предоставленная ему в 1857 году возможность «пророчества» была упущена. Благодаря своим русским друзьям С. А. Соболевскому, М. А. Корфу и В. П. Боткину, он читал в немецких переводах Пушкина и Лермонтова и во французских — Гоголя, а самым популярным писателем России 1850-х годов признал Тургенева. Нелишне напомнить, что ко времени его пребывания в России уже были опубликованы не только «Мертвые души» Гоголя (1842) и «Записки охотника» Тургенева (1852), но и «Бедные люди» Достоевского (1846) и «Севастопольские рассказы» Толстого (1855), о которых как о вершинах мировой литературы писала Пардо Басан.

Отличие лекций испанской графини от книги ее французского предшественника заключалось не только в том, что она, во многом следуя за Вогюэ, предложила другой взгляд на национальное своеобразие русской литературы. Прежде всего глубоко ошибочно представление о неоригинальности ее тезисов и выводов. Мнению о их полной зависимости от «Русского романа» Вогюэ литературоведение обязано статье мексиканского дипломата и писателя Франсиско де Икасы 1925 года,¹⁴ в которой, в отличие от утверждений защитников писательницы, фактического материала более чем достаточно. Икаса, приведя длинный список страниц книги Пардо Басан, представляющих, по его убеждению, краткий перевод страниц, параграфов и фраз из исследования французского критика, отказывает «Революции и роману в России» в праве называться самостоятельным произведением. В статье не случайно происходит подмена названия книги Пардо Басан, как если бы она была посвящена только литературе. Икаса не счел нужным обратить внимание на то, что большинство в некоторых случаях действительно почти дословных переводов испанской романисткой отдельных фраз или даже целых отрывков из «Русского романа» Вогюэ относятся либо к биографиям русских писателей, либо к конкретным сведениям, касающимся литературной жизни России, либо к анализу художественных произведений, которые Пардо Басан не могла прочесть сама ввиду отсутствия их переводов на те европейские языки, которыми она владела: французский, немецкий, итальянский и английский.

Пардо Басан действительно многим обязана «Русскому роману». Но ее книга, в сущности, написана на другую тему. Предмет исследования Вогюэ — русский роман, в то время как лекции испанской писательницы посвящены «революции» и «роману» в России, причем именно в этой последовательности. Самым же неожиданным, оригинальным и интересным является ее убеждение в том, что революционное движение и художественная литература неотторжимы друг от друга, поэтому необходимо учитывать их взаимозависимость и взаимообусловленность.

¹² Валера Х. Письма из России. СПб., 2001. С. 150.

¹³ Valera J. Con motivo de las novelas rusas. Carta a doña Emilia Pardo Bazán // Valera J. Obras completas. Madrid, 1949. T. 2. P. 715–723.

¹⁴ См.: Icaza F. de. Doña Emilia Pardo Bazán y la novela en Rusia // El Sol. 1925. 28 de enero.

Выводы испанской романистки, никогда не бывавшей в России, не знавшей русского языка, коренным образом отличаются от выводов Вогюэ, книга которого была главным источником ее работы, и обусловлено это было тем, что концепция Пардо Басан рождалась под перекрестным влиянием французских литераторов и русских революционеров-эмигрантов, с которыми она познакомилась в Париже. Двоих из своих русских друзей назвала сама писательница — это Исаак Яковлевич Павловский и Лев Александрович Тихомиров. Из других русских источников следует упомянуть книги С. М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия» и «Россия под властью царей».¹⁵ При этом не стоит забывать и о выдающихся трудах западноевропейских ученых XIX столетия, таких как «Россия» М. Уоллеса, «Империя царей» А. Леруа-Больё и «История России» А. Рамбо, из которых испанская писательница почерпнула немало материала, оставаясь независимой в своих выводах (р. 12–13).

Нет ничего удивительного в том, что вполне органичный и цельный, но все же двухфокусный взгляд Пардо Басан как на Россию, так и на русский роман, в немалой степени обусловленный разнохарактерными источниками ее осведомленности в вопросе, сказался на ее оценках.

Много внимания Пардо Басан уделяет форме правления в средневековых русских городах, полагая, что Россия в Средние века обладала республиканским правлением, более свободным и радикальным, чем в остальной Европе. Она весьма подробно знакомит читателя с социально-политическим, бытовым и религиозным укладом России XIX столетия, огромное значение придавая трем «стержням» русской жизни: самодержавию, крестьянской общине и революционному движению. Пардо Басан признается, что не испытывает особой симпатии к революционерам и нигилистам, но если бы ей пришлось выбирать между увлеченностью и верой революционеров в свои идеалы и равнодушием людей, ко всему безучастных, то она, несомненно, выбрала бы первое.

Под влиянием идей своих русских друзей-революционеров о предстоящем крутом переломе в жизни их страны, стоящей на пороге великих, еще не виданных в Европе событий, Пардо Басан заявляет, что «никчемные листки западных конституций» были разорваны в России непрочитанными, и, пророчествуя, утверждает, что «русская революция не удовлетворится тем, чем удовлетворились западноевропейские» (р. 224–225).

Из этого брожения, неслыханных, невиданных и недоступных Западу элементов, с ее точки зрения, и родился великий русский роман. Ни на минуту не забывая о литературе, Пардо Басан делает следующий вывод, основанный на ее раздумьях о будущем Запада и России: «Роман — это самое ясное зеркало, вернейшее отображение общества; я не устану это повторять, и в этом легко удостовериться, просто обратив внимание на нынешнее состояние европейской литературы. Полагаю, что я достаточно ясно показала, что в русском романе отражаются все чаяния, мечты и тревоги этой страны: русский роман — революционный и мятежный, поскольку революционным и мятежным является общее умонастроение интеллигенции и просвещенных людей».¹⁶

В то же время испанская графиня Пардо Басан настаивает на том, что если французское общество — дитя Великой французской революции, то в России, стране христианской, революция принимает абсолютно иные формы, и, переходя к творчеству Достоевского, впрочем не упоминая его, она с увлечением пишет о накале мистической лихорадки, которым охвачена Россия, о тяге к жертвенности, о болезненной нежности, о пламенном милосердии.

¹⁵ См. об этом: Багно В. Е. Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании. С. 41–43.

¹⁶ Пардо Басан Э. Из книги «Революция и роман в России» // К истории идей на Западе: русская идея. С. 543.

«Если в моменты уныния, — признается испанская писательница, — над которыми не властна человеческая душа, померкнет во мне истина и убедительность слова Иисусова, я буду спасаться от своих заблуждений примером его чудесной действенности в России. И здесь не имеет значения печать инакомыслия, лежащая на этом великом утверждении христианства. В голове самого отъявленного еретика много больше правды, нежели заблуждения, если он искренний христианин. Вот только заблуждение подобно греху: одной капли яда достаточно, чтобы отравить стакан чистой воды; и все же неопровержимо, что в стакане больше воды, а не яда».¹⁷

Вместе с тем Пардо Басан готова верить тому, что Россия решительно отвергла материалистические учения, подобно возвращению морем мертвого тела. Как показала история, это пророчество не вполне оправдалось.

Посвятив большую часть своих лекций описанию природы, погоды, обычаев, истории и общественной жизни России, испанская писательница переходит к литературе, к «зеркалу», вернейшему отображению этого общества. Вслед за Воюэ, величайшими русскими писателями она признает Гоголя, Тургенева, Достоевского и Толстого, но при этом готова считать, что автор «Обломова» ничем им не уступает. На этом фоне, с ее точки зрения, особенно выделяется творчество двух русских гениев — Достоевского и Толстого. И наконец, так же, как и французский критик, пальму первенства она отдает Толстому, прежде всего потому, что именно в его творчестве обнаруживает черты, которые могут обновить современную ей испанскую и европейскую литературу. Пардо Басан не стала исключением из правил — в споре о Толстом и Достоевском она присоединилась к тем, кто безоговорочно отдавал пальму первенства автору «Войны и мира».

Среди своих предшественников и современников Толстой выделяется, по мнению Пардо Басан, тем, что его реализм производит полное впечатление жизненной правды. В то же время, хотя и с меньшим энтузиазмом, она приветствовала желание Толстого быть не только художником, но и проповедником общественного обновления: «Видеть фанатика социализма и великого писателя в одном лице <...> настолько интересное для ума зрелище, что я не решаюсь ответить на вопрос, что в Толстом привлекает более пристальное внимание: личность или книги» (р. 413).

Пытаясь выявить отличия между творческой индивидуальностью Толстого, Тургенева и Гончарова, она с удовлетворением находит то, что их объединяет, более того, объединяет их с представителями европейской цивилизации и позволяет Западу у них учиться: сбалансированное состояние души и гармоническое мироощущение.

При исследовании творчества Достоевского и его личности Пардо Басан ставит перед собой совершенно иную задачу — изучить Россию и понять душу русского человека. Естественно, возникает вопрос, какие стороны личности русского писателя, какие особенности его таланта произвели на нее наиболее сильное впечатление? В первую очередь это сгущенность мрачных красок в обрисовке действующих лиц, присущая им лихорадочная жажда деятельности и, наконец, специфический взгляд на человека и на мир, не укладывающийся в общечеловеческие представления о добре и зле. Время показало, что испытания историей эта задача и выводы, при всей проницательности взгляда испанской писательницы, не выдержали, прежде всего потому, что трагедия Первой мировой войны заставила всех признать, что в романах Достоевского мы находим не только Россию и душу русского человека, но человечество и природу человека, которые оказались совсем не такими, какими их ранее видели и изображали.

¹⁷ Там же. С. 544.

Достоевского, по убеждению Пардо Басан, не следует читать, с одной стороны, людям впечатлительным и нервным, а с другой — воспитанным на традициях «спокойствия, гармонии и света»: «Так видит мир тот, кого лихорадит. Он довел реализм до пределов возможного; и это уже реализм мистический. Он и его герои не от нашего мира, не от нашей расы, влюбленной в свет, не от нашей приветливой цивилизации: это экстравагантное порождение русской жизни, для нас непостижимое» (р. 384).

Несмотря на эти существенные оговорки и «заслоны» для душевного покоя европейской цивилизации, испанская графиня считает творчество русского писателя одной из вершин реализма XIX столетия. Она характеризует Достоевского как первого среди европейских романистов по глубине психологического анализа, а также по той роли, которую приобретает в его творчестве гуманистическое начало: «И это — красота? — спросят меня. Все, что создано Достоевским <...> ранит душу, извращает воображение и до предела расшатывает наши представления о добре и зле <...> И все-таки я утверждаю, что это красота, мучительная, вывернутая наизнанку, дьявольская, но мощная, великая и властная» (р. 378–379).

Удивительна и по-своему показательна общая переориентация мировой культуры с Толстого на Достоевского. Показательна в том смысле, что от актуального во второй половине XIX — начале XX века Толстого после Первой мировой войны Запад в своих идейных и эстетических поисках и пристрастиях переориентировался на более *актуального* для XX столетия Достоевского.¹⁸

Переводы из Тургенева, Толстого и Достоевского оказались как для первых их читателей, так и для последующих поколений, тех, кто впервые брал в руки книги русских писателей, подлинным откровением. Вне зависимости от того, насколько читатель был способен осознавать дистанцию между действительностью и художественной реальностью, он был вправе, вслед за Стефаном Цвейгом, задуматься о коренных вопросах человеческого бытия, которые ставились русским романом. «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, — писал Цвейг, — ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы, с веселой толпой детей, у Бальзака — замок, с титулом пэра и миллионами. И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и в светлых залах — чего хотят там люди? — Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? — Никто. Ни один. Они нигде не хотят остановиться, даже в счастье».¹⁹ Не только упоминание имени Достоевского, но и последняя фраза подсказывают нам, что речь идет прежде всего о судьбе его наследия в XX веке.

Предсказав движение России к революционным катаклизмам, сосредоточившись на различиях русского общества с его революционным брожением и европейского общества, людей, воспитанных на традициях «спокойствия, гармонии и света», Пардо Басан не смогла предвидеть движение всей Европы к катастрофе Первой мировой войны, а в области литературы — к переориентации, как следствию этой катастрофы, европейской интеллигенции с Толстого на Достоевского как нового властителя умов. В этом смысле большой интерес представляет эссе «Необычный русофил» (1914) М. де Унамуну, испанского мыслителя и писателя, предшественника экзистенциализма, в молодости внимательно прочитавшего книгу Пардо Басан, в творчестве которо-

¹⁸ См., например: Толстой или Достоевский? Философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада. СПб., 2003.

¹⁹ Цит. по: Цвейг Ст. Полн. собр. соч.: [В 8 т.]. Л., 1929. Т. 7. С. 121–122.

го Толстой и Достоевский оставили глубокий след.²⁰ Эссе представляет собой отклик на события Первой мировой войны, в которой Испания не принимала участия. Прошло четверть века с момента выхода в свет книги Пардо Басан, началась Первая мировая война, и именно то, что испанская графиня, при всем восхищении Достоевским, сочла неприемлемым для западноевропейского читателя, да и для Европы в целом, Унамуну отметил как то понимание жизни и мира, которое его герою, во многом выражающему точку зрения автора, представляется самым достойным.

Во время споров о воюющих державах в некоем мадридском кафе каждый из его завсегдатаев становится на сторону одной из участвующих в конфликте сторон — Франции, Германии, Англии, Австрии, Италии, при этом один из них, предпочитавший до поры до времени отмалчиваться, неожиданно заявляет, что Россию как таковую знает плохо, за изучение русского языка никогда не брался, в России никогда не бывал, с русскими знаком не был, но тем не менее имеет вполне четкое представление о России, почерпнутое из произведений Достоевского. Именно благодаря им он и стал убежденным русофилом. Далее он поясняет, что свое представление о России он вынес из романов Достоевского, и не уверен в том, что реальная Россия такова, какой он теперь ее представляет. Однако поскольку реальную Европу он знает хорошо и ход развития европейской цивилизации его абсолютно не устраивает, он голосует за Россию своих фантазий, своих надежд, своей веры, т. е. за свои представления и идеалы, частично почерпнутые из романов русского писателя: «Я голоую за торжество духа, т. е. за представление и ощущение, которое от жизни и мира имел Достоевский».²¹ И далее: «Все, что мне довелось в эти дни услышать, никак не реагируя, пустые, избитые благоглупости, которыми вы по очереди обменивались в защиту самых значительных и, как принято считать, наиболее передовых народов Европы, вызывало у меня грустную улыбку, и поскольку я больше не мог молчать, я выразил свои чувства, поддержав Россию, Россию Достоевского, „Записок из подполья“, „Идиота“, „Преступления и наказания“, которая, быть может, и отличается от сегодняшней России, которая, похоже, может рассчитывать на победу, с ее Думой, но для меня это не имеет значения».²² Знаменательно не только то, что фактически в своем эссе автор предоставляет слово только «русофилу», но также и то, что в контексте споров аргументы «русофила», точнее было бы сказать «достоевскофила», звучат наиболее убедительно.

Унамуну, любитель резких поворотов, в разные годы напоминавший как русских западников, так и русских славянофилов, переболевший в юности идеей «европеизации» Испании, а впоследствии утверждавший, что его «интересует в России все самое русское, самое подлинное, самое исконное, наименее космополитическое»,²³ предложил в зрелые годы концепцию «испанизации» Европы, духовной экспансии Испании.²⁴

При этом, если оставить в стороне вопрос о взаимной симпатии славянофилов и испанофилов, разочарованных ходом развития европейской технократической цивилизации, значение имеет и то обстоятельство, на которое обратил внимание А. Жид. Сочувственно процитировав Вогюэ, который утверждал, что если русских царей называли собирателями земли русской,

²⁰ О творческом усвоении М. де Унамуну наследия русских писателей и мыслителей см.: Корконосенко К. Мигель де Унамуну и русская культура. СПб., 2002.

²¹ *Unamuno M. de. Obras completas.* Madrid, 1966. Т. IX. P. 1248.

²² *Ibid.* P. 1250.

²³ См.: *Gallego Morell A. Estudios y textos ganivetianos.* Madrid, 1971. P. 100.

²⁴ Об этом см.: Багно В. Е. Пограничные культуры между Востоком и Западом // Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница. СПб., 2006. С. 11.

то Достоевский в области духа стал собирателем русского сердца, французский писатель делает вывод, имеющий уже отношение ко всей Европе, пережившей катастрофу Первой мировой войны: «Такое же собирание сил происходит благодаря Достоевскому и в Европе — медленно, почти таинственно, — главным образом, в Германии, где число изданий его произведений растет, а затем и во Франции, где новое поколение понимает и ценит его лучше, чем современники г-на де Вогюэ. Скрытые причины, замедлившие его успех, обеспечат этому успеху прочность».²⁵

В заключение, возвращаясь к Пардо Басан, а также к теме несформулированных прогнозов, стоит привести еще одну ее мысль. Романы Достоевского, полагает она, не годятся для тех, кто берет в руки книгу, ложась спать, чтобы она навеяла сон, равно как и тех, кто открывает книгу во время минут отдохновения, чтобы восславить Господа за его творение. И наоборот, лучше этих романов не придумать для беспокойных умов, уединившихся при свете керосиновой лампы и вбирающих в себя гул и трепет какого-нибудь большого города, такого как Париж или Петербург.²⁶ Любопытно, что испанская писательница здесь противоречит сама себе: речь здесь идет не о том, что романы Достоевского — это зеркало русской души, чуждой и недоступной для западного восприятия, а о том, что равнодушные и беспокойные души любой национальности (а не только русские), с духовными, идейными и нравственными запросами, именно в такой литературе и нуждаются.

²⁵ Цит. по: Жид А. Переписка Достоевского // Русская классика: Pro et contra. Между Востоком и Западом. СПб., 2018. С. 395.

²⁶ Об эволюции восприятия творчества Достоевского соотечественниками Пардо Басан в XX веке см., например: Арсентьева Н., Морильяс Ж. Испанское достоевскоеведение: истоки, итоги, перспективы // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2013. Вып. 20. С. 305–328.

DOI: 10.31860/0131-6095-2020-3-84-93

© М. Б. ПЛЮХАНОВА (И т а л и я)

О ЗНАЧЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЦЕН И СКВОЗНЫХ МОТИВОВ В «СВЕРХРОМАНЕ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: ПОИСКИ МЕТОДА МЕЖДУ ИННОКЕНТИЕМ АННЕНСКИМ И «НОВОЙ КРИТИКОЙ»

Большие романы Достоевского и сопровождающие их малые произведения созданы в относительно краткий период, за пятнадцать лет. Создававшиеся мощным, почти непрерывным творческим усилием, как воплощения единого, хотя и беспрестанно менявшегося замысла, они значительно менее автономны, чем произведения предшествующего периода или, например, чем трагедии Шекспира или романы Гюго, если смотреть на великих, на которых стремился ориентироваться Достоевский.

Период пяти романов выделяется энергией самоотверженного и саморазрушительного труда, напряжением художественной мысли. Интенсивность работы была обусловлена натурой писателя, лихорадочной активностью духа и интеллекта и до некоторой степени вынуждалась обстоятельствами, которые, в свою очередь, отчасти зависели от личных свойств: непосильные долги, вымалывание и получение от издателей авансов еще прежде, чем начи-